ответа, опоры на собственные внутренние силы. Причем читательский интерес направлялся автором с помощью притчи и извлеченного из нее нравоучения на символическое значение изображаемого, на тот смысловой контекст, в котором притча только и могла выполнять определенные сюжетные и прагматические функции.

Многообразные функции притчи о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче объясняются как богатством ее связей с различными ситуациями поэмы, так и ее способностью активизировать значимые и во многом предопределенные и предуказанные автором ассоциативные ходы, позволяющие читателям подойти к существенным для нравственной проблематики «Мертвых душ» культурным и нравственным традициям. Это и актуальная для автора традиция обращения с притчами к огрубевшим сердцам, нравственно нездоровым людям. Однако поймут ли они авторские призывы и захотят ли нравственного исцеления? Уверенности в этом у автора нет, поэтому от разговора с «грешниками» незаметно переходит он к беседе с духовно близкими ему читателями, полагаясь на их сочувственное понимание: «Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый... он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: „Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!“» [1, т. 5, с. 353—354].

Если читателей-«грешников» автор стремится упрекнуть, обратиться к ним с притчей и нравоучением, то к духовно близким читателям автор адресует лирически и патетически проникновенное слово, свои прозрения и упования. Именно этим читателям говорит он о «тайнах» будущей судьбы героев и самой поэмы. Эти рассуждения о «тайнах», эти авторские «вещания», кажущиеся иногда инородным телом в поэме, на самом деле существенно характеризуют этическую позицию автора. Автор предстает здесь как носитель «премудрости», содержащей, в соответствии с традиционными восточными представлениями, глубоко отразившимися в древней литературе, так называемые «темные высказывания», «элемент головоломки» [17, с. 725]. Но к «премудрости» тяготеет и жанр притчи [8, столб. 20], языком которой пользуется автор для общения с «грешниками». Все это указывает на принципиальное единство этической позиции автора, по-разному выраженной в поэме, в зависимости от характера аудитории.

Если притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче позволяла автору указать на содержание значимых для него этических принципов, то сама этическая позиция автора, как она изображена в поэме, выражала представления Гоголя о высшем смысле нравственного поведения человека, о подлинной человеческой мудрости, без которой ни отдельный человек, ни «текущее поколение» не обретут ни «выхода», ни «дороги».

Так обнажается глубокая и органичная связь художественного мышления Гоголя с дофилософской литературой «мудрости», типологической параллелью которой, по мнению современного исследователя, служит и «учительная» литература Древней Руси [18, с. 79]. Известно, какое значение имела эта литература для самосознания Гоголя, для его художнических и идейно-нравственных исканий. Воздействуя определенным образом на сферу нравственных переживаний читателей, изображенный Гоголем автор поступал как древний «мудрец», указывающий самим способом общения с аудиторией, включавшим в себя и язык «вещаний», и язык притчи, на существование внутренне обязательных для каждого и не потускневших со временем непреложных «начал» человеческой этики.